

ЖУАН САЛЕС

Обманчивая слава

[171]

ИЛ 3/2018

Глава из книги

Перевод с каталанского и вступление МАРИНЫ КИЕНЯ-МЯКИНЕН

“Обманчивая слава”, антивоенный роман

В Испании никогда не перестанут писать книги о Гражданской войне, и никогда они не утратят популярности. Осмысление этого болезненного опыта еще не закончено. Исторических свидетельств и документальной литературы предостаточно, но всегда будут оставаться гуманитарные аспекты, требующие более глубокого, более пристального взгляда на произошедшее — взгляда художника.

Именно такой взгляд предлагает читателю роман “Обманчивая слава”. Его автор, каталонский прозаик Жуан Салес-и-Вальёс (1912—1983), юрист по образованию и издатель по профессии, воевал на стороне республиканцев, испил горькую чашу поражения, на собственном опыте познал тяготы плена и эмиграции. В 1948 году Салес вернулся из Мексики во франкистскую Испанию с одной только целью: способствовать развитию каталонской литературы. Он не только основал издательство “Club Editor”, но и внес в это дело важную лепту как писатель. В 1954 году вышла в свет первая редакция его романа “Обманчивая слава”, изрядно покалеченная цензурой. За ней последовали другие, расширенные версии, пока в 1971 году книга, наконец, не предстала перед читателем во всей своей полноте.

Произведение Жуана Салеса — это не просто роман о войне; это роман о человеке на войне. На войне гражданской, братоубийственной. Кто там, во вражеском окопе? Вдруг это твой родственник, друг или знакомый? Тогда ты убьешь не только его, ты убьешь что-то в себе. Когда кругом льется кровь, страшно погибнуть, но еще страшнее умереть заживо, утратив основные качества, делающие нас людьми. Где та черта, перейдя которую можно потерять душу, превратиться в ходячую мумию? Ответ на этот вопрос ищет один из главных героев романа Льюис де Брокá в письмах с фронта к своему брату Рамону.

“Обманчивая слава” интересна еще и тем, что в ней множество литературных и философских аллюзий — скрытых и явных. Отчетливо звучит,

© hereus de Joan Sales

© d'aquesta edició: Club Editor 1984, s.l.

© МАРИНА КИЕНЯ-МЯКИНЕН. Перевод, вступление, 2017

Печатается с любезного разрешения Maria Bohigas Sales Directora de Club Editor.

например, концепция интраистории испанского философа Мигеля де Унамуно, согласно которой истинная сущность человеческой жизни не связана ни с внешними историческими событиями, ни с идеологией. Оказавшись на “ничейной территории”, где нет ни своих, ни чужих, Льюис де Брокá словно приходит в себя после длительного ночного кошмара и осознает, как прекрасен мир в своей простоте.

Нет, “Обманчивая слава” — это не военный роман. Это роман антивоенный, призывающий даже в самых тяжелых обстоятельствах беречь основные человеческие ценности.

V

...la griffe effroyable de Dieu¹.

Сьерра-Калва, 28 августа

И снова война тащит нас за собой: передвигаемся ночью, днем отсиживаемся в укрытии. Из лачуги доносится глухой, пропитой голос нашего капитана:

Любил я красотку из Оливеля,
но она не любила меня.

Оливель-де-ла-Вирхен² остался позади. Затерялся в прозрачной череде разрушенных городов и селений. Где те розы, что в первый день девушки вдевали нам в петлицу? Яркие красные розы “цвета багряницы Христовой...” Теперь девицы явились нарядные, а с ними весь муниципальный совет во главе с алькальдом. Стали просить, чтобы мы не уходили, а то вдруг снова нагрянут анархисты³. Майор просто голос сорвал, пытаясь объяснить, что не от нас это зависит.

— Вам что же, не по душе наш Оливель? — не отступали они.

А тетюшка Олегария? Из ее маленьких, опухших и покрасневших глаз катились слезы величиной с горошину. Гальярт был там и потом, когда уже скрылись из вида крыши последних сараев, признался:

1. ...длань Творца и когти роковые — цитата из стихотворения Шарля Бодлера “Маленькие старушки”. Перевод Эллиса.

2. Прообразом селения Оливель-де-ла-Вирхен является местечко Эстеркуэль в южной части Арагона, где находится монастырь Нуэстра-Сеньора-дель-Оливар. Вероятно, название селения, описанного в романе, произошло из соединения топонимов “Оливар” и “Эстеркуэль”.

3. Отряды анархистов, чьи позиции были особенно сильны в Арагоне, часто занимались грабежами и мародерством, вызывая резкое недовольство местного населения.

— У меня тогда просто горло перехватило.

Мы заняли позицию на горной вершине, голой, как колесо. Внизу расстилается равнина; в бинокль я отчетливо вижу зигзаги вражеских траншей. За ними — Побла-де-Ладрон.

Бой начался в четырнадцати километрах к востоку от нас. Две дивизии атакуют селение Шилте, небольшое, но очень важное сейчас, так как там сосредоточились передовые отряды противника. Побла-де-Ладрон лежит на подступах к ним, поэтому туда надо пробиться во что бы то ни стало. Дивизия наступает двумя флангами, берет врага в клещи: наша бригада слева, а “плоскостопые” справа.

Занимается рассвет. Внезапно над землей между вражеской траншеей и первыми домишками Поблы беззвучно вспухает ряд белых облачков. Я навожу туда бинокль. Ну вот снова белые облачка, но уже с другой стороны, между окопами и колючей проволокой. Грохот залпов долетает до меня только сейчас, через пятнадцать секунд. Значит, по приблизительным расчетам, снаряды падают километрах в пяти; но на самом деле расстояние меньше, мне не сразу удалось засечь время на хронометре. Ладно, к черту абсолютную точность, я же не артиллерист. А вот и третий залп: белые грибы вырастают прямо из траншеи, по всей длине зигзага. “Чисто сработано”, — сказал бы Пикó, он ведь обожает артиллерийское дело и тригонометрию. Теперь, когда наши батареи включились в дело, они бьют без передышки, непрерывным огнем, так что грохот каждого следующего залпа сливается с грохотом предыдущего. Я не знал, что наступление на Побла-де-Ладрон начнется сегодня; это самая мощная артподготовка, которую мне довелось наблюдать за всю войну. Если мы продержимся в том же темпе хотя бы час, если орудия не подведут, там живой души не останется.

Косые рассветные лучи освещают позиции противника, и я отчетливо вижу их в бинокль.

Враг покидает траншеи. Это гражданские гвардейцы: на солнце блестят их лаковые треуголки. Проклятые гвардейцы, дурацкие треуголки! Но постойте-ка, что они делают? Вылезают из окопа, в котором то и дело рвутся снаряды; покидают укрытие, но, вместо того чтобы бежать в сторону Поблы, прыгают через бруствер и бросаются на землю между ним и заграждением из колючей проволоки. Лежат неподвижно, на одинаковом расстоянии друг от друга, и напоминают крокодилов, дремлющих на речном берегу. Надо предупредить нашу артиллерию, они же зря тратят боеприпасы; обстреливают пустую траншею. Им бы изменить наводку, целиться ближе. Всего каких-то пара метров, и от гвардейцев

бы мокрого места не осталось. Чтоб им пусто было, этим гвардейцам, я не смог позвонить на наблюдательный пункт, а теперь уже поздно; наша пехота приходит в движение, стягивается к проволочным заграждениям, так что орудия вынуждены прекратить огонь. Гвардейцы возвращаются — все в тот же окоп; и вот он раздаётся, этот металлический звук, похожий на стрекот каких-то насекомых: тарактение их пулеметов. Наши один за другим падают на колючку.

Нет сил смотреть на это. Я возвращаюсь в землянку.

Пишу при свете очага. На этих неприятных высотах по утрам холодно. Рядом булькает в котле похлебка, наш завтрак. Армейские привилегии остались в прошлом; теперь все, от капрала до последнего новобранца, едят одно и то же. О священное братство армейской кухни!

Сьерра-Кальва, 31 августа

Четвертая рота осталась в резерве на голых высотах, а остальные двинулись в наступление на Побла-де-Ладрон. Вчера враг наконец-то покинул развороченные снарядами траншеи и засел в домишках селения.

Авиации и артиллерии пришлось сравнять их с землей. Теперь в бинокль я вижу только остовы стен; в пробоинах, некогда бывших окнами, сквозит пустота. Мертвые руины; смотришь на них, и приходят на память мумии Оливеля¹.

Смеркается; в сосняке послышался зычный голос желны, а потом все стихло. Изредка где-то бьет миномет; стрекочут сверчки.

Видимо, только что бригада “плоскостопых” взяла последние укрепления Поблы-де-Ладрон, обратив в бегство противника. Вот оно как: “плоскостопые” показали себя в лучшем виде. Но нашим я этого, конечно, говорить не стану.

Сьерра-Кальва, 1 сентября

Мы по-прежнему в резерве. Остальные сражаются дальше к северо-востоку, уже за Поблой; противник перешел в жестокую контратаку. Приглушенная расстоянием, симфония минометного обстрела и пулеметных очередей напоминает бульканье похлебки, вовсю кипящей на сильном огне.

По ночам мы, лейтенанты, собираемся втроем в землянке капитана, в самом центре расположения, растянувшегося километра на три. Мы рассказываем друг другу всякие истории; осо-

1. В нишах монастыря селения Эстеркуэль действительно хранились мумифицированные останки его монахов.

бенно старается Гальярт. Его любимая тема — несчастная любовь, бесконечные рассказы про Мелитону. Послушать беднягу, так он всю жизнь ходил в отвергнутых воздыхателях, одна сплошная трагедия, под стать какому-нибудь поэту-романтику; но все несчастья меркнут по сравнению с тем, что ему довелось пережить с Мелитоной, уверял Гальярт. “Как влепит оплеуху — на ногах не устоишь. Ну и тяжелая же у этой девчонки рука, прямо дух вон!” А дуэль Гальярта с комиссаром Ребулем? Тоже сложный случай, ладно хоть, до настоящего кровопролития не дошло. Хорошо бы все истории так заканчивались!

Безлунные ночи на голой горной вершине — настоящее чудо. Воздух в этих пустынных краях сухой, и звезды смотрят с вышины, точно чьи-то яркие, зоркие глаза. Я знаю карту неба и увлеченно слежу, как планеты переходят из созвездия в созвездие; это Круэльс научил меня разбираться в астрономии, но поначалу-то, конечно, было трудновато. Когда незадолго до рассвета я в одиночестве возвращаюсь к себе в землянку, меня завораживает удивительная тишина. Люди ненадолго перестали убивать друг друга; слышен лишь легкий шелест ночного ветра да хохот филина где-то вдалеке. Возможно, он смеется над нашими жалкими победами.

Сьерра-Кальва, 2 сентября

Мне никогда не снятся сны, но тут приснилось вот что: на обрыве высились руины древнего храма; издалека доносился шум прибоя, словно мерное, тяжелое дыхание спящего зверя. Среди развалин бродила какая-то фигура — человек в длинном одеянии, похожем на сутану; глаза его были открыты, но он ничего не видел; в руках незнакомец держал астрономическую трубу, смотрел прямо перед собой незрячим взором и двигался, как лунатик. Кругом громоздились тюки, чемоданы, контрабасы, пианино и мумии. Лунатик с трубой в руках обходил их вслепую; среди мумий я заметил Солераса и еще каких-то людей, во сне показавшихся мне до странности знакомыми. Мумии были неподвижны и безжизненны, как чемоданы и тюки; стояла тревожная тишина — такая всегда окружает большие баулы, ведь никогда не знаешь, что там внутри. Мумии не глядели на меня, однако видели и силились что-то сказать — все одно и то же. Но не могли, они были немые. В глубине храма светился алтарь; лунатик шел к нему, наставив свой телескоп на алтарный образ. Мне показалось, что это Дева Мария Скорбящая. Сердце ее пронзали какие-то острые предметы, но не кинжалы, а армейские штыки. Облаченная в жесткий шелк, она сама напоминала мумию — неподвижную желтую мумию. Лунатик все шел к ней, и никак не мог подойти. Сутана его вдруг разрос-

лась, по полу потянулся бесконечный черный шлейф; меня охватил смутный страх, захотелось прочесть молитву, но слова застревали в горле; я тоже обратился в безгласную мумию, затерялся среди других, среди тюков и чемоданов. Голос мой пресекался, словно чья-то рука сдавила грудь; глаза алтарной статуи блестели в темноте, точно кошачьи. Своды странного храма внезапно начали опускаться, он превратился в пещеру; сверху свисала паутина и гроздь летучих мышей. Тут лунатик сделал какое-то странное движение, показалось, что своим телескопом (а может, это был уже не телескоп, а железный лом?) он нанес удар какому-то невидимому существу, которое скулило и скреблось в темноте — жуткий сухой удар прямо по черепу...

Я пробудился в холодном поту. В полудреме сновидение помнилось совершенно отчетливо — говорят, умирающему так же отчетливо представляется прожитая жизнь. Бывает, плаваешь между реальностью и небытием, а сон все стоит перед глазами. Сейчас я в толк не возьму, что он значил — просто был страшным, тяжелым, горячечным, мрачным — и полным глубокого смысла.

Сьерра-Кальва, 3 сентября

Поздним вечером я был в карауле, совершал обход позиций: три километра высокогорья, занятые 14-й ротой. Вдруг в полутьме возникла у бруствера фигура — высокий, худой мужчина, стоявший ко мне спиной. Внимание привлекла его одежда, совсем не похожая на ту, что носим мы все, — бархатные брюки, высокие, до блеска начищенные кожаные сапоги с серебристыми шпорами¹. Он был без куртки, в одной рубашке, и рубашка, ты не поверишь, не цвета хаки, а голубая. И кому только вздумалось щеголять здесь в голубой рубашке? Всякие наряды повидал я за этот долгий военный год; но голубая рубашка... Невероятно!

Чужак, перегнувшись через бруствер, как через перила балкона, разглядывал равнину у подножья Сьерра-Кальва, уже погружившуюся в сумрак. Там, вдалеке, еще продолжалась перестрелка, булькал пулемет, ухали гранаты, время от времени слышался вой гранатомета. Но звуки постепенно стихали в темпе *morendo*², тонули в вечерней тишине.

Я крикнул: “Стой, кто идет!”, и он обернулся — это был Солерас. Я повел его в свою землянку и предложил выпить

1. Этот экстравагантный наряд отражал романтический дух, присущий первому этапу Гражданской войны в Испании.

2. Замирая, затихая, то есть постепенно замедляя темп и ослабляя звучность (музыкальный термин).

коньяку, чтобы согреться; приятно все-таки встретить старого знакомого на этой верхотуре. Мы говорили долго, всю ночь, до самого рассвета.

Солерас мне столько всего рассказал... Например, признался, что сыт по горло и железнодорожным корпусом, и интендантской службой, и турецким горохом: “Знал бы ты, сколько турецкого гороха предстоит сожрать тебе и твоим сорвиголовам...”. Он, мол, хочет обратиться к командованию с просьбой отправить его на передовую, в любую роту, хоть рядовым, хоть стрелком-гранатометчиком, “только не к вашим плоскостопым”.

— Надеюсь, к тебе в бригаду не определяют. Чтобы я отдавал тебе честь! Ни за что. Хотя, на самом деле, какая разница. Даже неплохая идея: служить рядовым под твоим командованием!

— А позволь спросить, что ты вообще делаешь на Сьерра-Кальва?

— Просто пришел поглазеть. Отсюда прекрасно видно поле боя: и наши позиции, и вражеские; видно, как перемещаются войска, как чертят дуги снаряды восьмидесятипятимиллиметровых орудий — точь-в-точь гравюра XVIII века; а те бедолаги там, внизу, ничего толком не разбирают. Как говорится, за деревьями леса не видят, да еще головой рискуют.

— А что это ты так вырядился?

— Просто захотелось. Я часто навещаюсь в тыл, езжу на интендантском грузовике. А там — сам знаешь: нацепишь униформу поярче, опишешь в подробностях пару боев — глядишь, и за героя сойти можно. Про горох-то рассказывать не обязательно. А если еще выставишь пару банок сгущенки “Эл-Пажес”...

— Ну ты и кривляка!

Он ничего не ответил. Мы сидели, сторбившись, в землянке, у самого очага; я зажег масляную лампу. Ее сабый свет выхватывал из темноты корявые столбы, державшие крышу из веток и утрамбованного грунта, по которой то и дело шмыгали полевки, привлеченные хлебными крошками и прочими объедками с нашего стола. Из щелей сквозило. Время от времени на голову нам сыпалась земля, сброшенная мышинными лапками; огонек лампы мигал и вздрагивал.

— Кривляка? Ну и что? — наконец произнес Солерас, отирая с губ коньяк. — Зато женщины всегда говорят, что я “не такой, как все”. Откровенничают со мной; порядочным мужчиной считают. — Он пристально поглядел на меня и расхохотался неприятным квохчущим смехом. — Подумать только, моей тетушке является святая Филомена, можно сказать, собственной персоной...

– Да ты, как я вижу, совсем спятил, Жули. Что за вздор ты несешь?

– Дурак ты, дурак. Сам-то мной восхищаешься, а я вот что тебе скажу: плевал я на твое восхищение. Лучше бы нам никогда не встречаться, Льюис; неужели ты этого не понимаешь?

– Ну, сегодня-то ты сам сюда заявился.

– Да, правда... Сам заявился. Честно говоря, на то имелись веские основания; без них я бы ни за что не пришел. Так что давай искать причину. Зачем же я здесь? Чем весомей причина, тем трудней ее найти! Поверь, мы и понятия не имеем о тех мощных силах, которые нами управляют. Как знать, может, я пришел именно потому, что мне не следовало этого делать, и нам ни к чему было видеться. В детективных романах, а в последнее время это единственное, что я читаю, так как “Роландовы рога”¹ выучил чуть ли не наизусть, утверждают, будто убийцы, как зачарованные, непременно возвращаются на место преступления; их так и тянет туда, где лежал труп жертвы. Как знать, может, ты и есть тот самый труп, хотя сам этого не понимаешь; А я, возможно...

– Я – труп? Знаешь, я не собираюсь выслушивать всякие гадости.

– А тебя никто и не заставляет. Ты мне абсолютно ничего не должен, скорее напротив. Между нами стена, Льюис. Да, именно так – стена. Никакой ты не труп, но с тобой можно беседовать о трупах; ты вообще из тех редких людей, с которыми можно говорить совершенно откровенно. Ведь жуткие темы у нас под запретом – собственно, как и непристойные. Нельзя, и все тут! Но с тобой-то я могу обсуждать что угодно так же непринужденно, как, например, погоду. Мало кто способен так внимательно слушать и, что уж там, даже понимать. Ладно, так о чем я... Ах, да. Что ты думаешь о женщинах, которые торгуют своим телом, а точнее, сдают его в наем? По весьма сходной цене, надо сказать. Иногда даже по дешевке! Некоторые за банку сгущенки “Эл-Пажес” готовы пойти за тобой хоть на край света. Но до чего же они вялые... Такое чувство, будто лежишь с мумией. Вот просыпаешься бывало среди ночи и с ужасом думаешь: обнимать мне эту мумию до второго пришествия... Можно отрицать существование рая, можно даже посмеяться над этой божественной постановкой в исполнении любительского театра дочерей Марии², но вот

1. Фривольный роман “Los cuernos de Roldán”, запрещенный франккиской цензурой.

2. “Дочери Марии, Помощницы Христиан” – женская католическая конгрегация, занимающаяся активной миссионерской деятельностью.

ад точно существует, тут уж никаких сомнений. И следует за нами неотвязно, точно дерьмо, прилипшее к подошве.

— Теология — не мой конек, — ответил я. — Но думаю, что если существует жизнь после смерти, то все должно быть по справедливости. Если бы остальные, подобно тебе, цинично выставляли напоказ свои язвы, их ждала бы та же участь — невращения. Воображаешь себя самым большим развратником? Да ты просто ослеплен бредом гордыни. Все мы слеплены из грязи, Жули; все по уши увязли в вонючем болоте. Я вот, например, такое вытворял... Уверен, что тебе так низко падать не доводилось. Но надо изо всех сил стараться, чтобы грязь не залепила глаза. Хотя бы глаза должны оставаться чистыми. Хотя бы глаза! Чтобы не потерять способности видеть звезды...

— Да ты, я вижу, сегодня в ударе, — насмешливо перебил меня Солерас своим оперным басом и снова плеснул себе коньяку. — Но что ты вообще понимаешь в звездах? Это Круэльс приохотил тебя пялиться на них в телескоп? Ерунда какая... Круэльс — несчастный лунатик, и, если будет попусту терять время, разглядывая всякие там светила, не видать ему епископской митры. А с другой стороны, звезды все на свете отдали бы, лишь бы стать как мы, люди! Ну вот, опять отвлекся. На твой счет женщины не заблуждаются: с первого взгляда ясно, что ты — мужчина заурядный. Вот я — другое дело... “С вами можно говорить, как с братом...” Идиотки! С каких это пор с братьями говорят по душам?

Звуки далекого боя постепенно стихали, тонули в темной, безлунной ночи. Солерас потягивал коньяк, время от времени близоруко щурился на алюминиевую кружку, разглядывал ее, точно какую-то странную зверушку.

— До чего же им нравится откровенничать! Просто часы рта не закрывают. Никто-то их, бедняжек, не понимает, а так хочется сочувствия. Но стоит только зазеваться, сразу жуткий скандал!

Я молча слушал этот бессвязный монолог, пытаюсь угадать, к чему он клонит.

— Выходит, у меня особый дар понимать женщин. Ты вот его начисто лишен, а потому тут же переходишь к делу. Зачем терять время, лучше сразу брать быка за рога. И что самое любопытное, нам с тобой всегда нравились одни и те же женщины.

— Слушай, Жули, хватит молоть вздор. Кого ты имеешь в виду?

— Не делай такую глупую физиономию, а то ты сразу становишься похож на нашего профессора экономики. Сам только что намекал: “Я такое вытворял, что...” Мне ли этого не знать!

— На что ты намекаешь?

– На твое последнее увлечение.
– Какое еще увлечение?
– Да кастелянша! Прими мои поздравления, она и вправду хороша! Просто с ума сойти, до чего хороша... Совсем, как у Бодлера:

Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme,
C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime...¹

– Но между нами ничего не было, слышишь?! Выдумываешь всякое, потому что начитался всяких книжонок про...

– Про кого?

– Про шлюх.

Он уставился на меня своими близорукими глазами – с такой насмешливой пронизательностью, что краска бросилась мне в лицо. И проговорил медленно, театральным басом:

– *Erripit si muove*².

Я готов был провалиться сквозь землю. Щеки у меня вспыхнули, руки задрожали. Солерас отвел взгляд и снова глотнул коньяка.

– Давай, выкладывай, что у тебя на уме, – только и смог произнести я. – Наверняка какую-нибудь гадость замышляешь.

– Думай, как знаешь. Но я ни за что не поверю, что ты состряпал то брачное свидетельство совершенно... безвозмездно. Признайся, документик удался на славу! Кто теперь осмелится утверждать, что я плохой друг, лишен всякого благородства и не спешу помочь товарищу выпутаться из такой сложной передраги... Да я – сама деликатность. Признайся, тебе и в голову не приходило, что без меня тут не обошлось. А ведь я мог бы на этом заработать: есть спрос, будет и предложение – помнишь, что говорил наш профессор экономики? Этому придурку и в голову не приходило, что на свете существует что-то помимо спроса и предложения. Но и я, разумеется, тоже придурок, хоть и без профессорского звания. Однако в каноническом праве я дока, особенно в оформлении брачных свидетельств *in articulo mortis*³. Этот вопрос я изучил на совесть! Меня всегда завораживало соприкосно-

1. Строки из стихотворения Бодлера "Идеал": "Нет, сердцу моему, повисшему над бездной, / Лишь, леди Макбет, вы близки душой железной...". Перевод Б. Лившица.

2. А все-таки она вертится (*итал.*) – крылатая фраза, приписываемая Галилею.

3. На смертном одре (*лат.*).

вание непристойного и жуткого, брачной ночи и смерти... И может показаться, будто идея женитьбы *in extremis*¹ принадлежала мне. Но нет. То была ее задумка. Когда мы познакомились, у кастелянши уже имелся готовый план. Канонического права она, конечно, не изучала, но ума ей не занимать. Я как-то даже заподозрил... — Тут Жули в нерешительности воззрился на меня. — Эх, была не была!

Вот уж негодяй, так негодяй! А что, если...

— Не понимаю, о чем ты.

— Анархисты убили кастеляна последним; интересно, почему они оставили его на десерт? Ведь это был совершенно бесцветный тип; пустоголовый и безыдейный, если честно. Даже монархистских взглядов не придерживался. Так с чего же анархисты на него взъелись? Возможно, кто-то навел их на мысль об убийстве...

— Навел на мысль?

— Кастелянша обладает потрясающим даром обольщения и внушения, ты и сам мог в этом убедиться...

— Ни за что не поверю! — воскликнул я, вспомнив эту пару святош-богомолов.

— Тем хуже для тебя. Она ведь куда интереснее, чем ты думаешь. Честное слово, не разбираешься ты в женщинах! *Âme puissante au crime*... Очень, очень интересная! А ты ее упустил... Не зря же говорят: Бог посылает орехи беззубому.

— Но если ты так хорошо ее понимаешь, почему сам не подделал свидетельство?

— У этой задумки, как и у многих блестящих задумок, имелся один минус: она была неосуществима. Ведь Оливель тогда был под анархистами; и если я туда пробирался, то только тайно и в штатском. Соблюдал, так сказать, строгое инкогнито. Едва бы удалось по всей форме заключить брак *in articulo mortis* на анархистской территории. Или ты воображаешь, что комитет анархистов (а законные власти, помнится, в полном составе испарились) заверил бы подписи монахов и признал документ действительным? И потом, кастелянша, внушив мне эту идею, — а я повторяю, что у нее потрясающий дар исподволь внушать другим собственные мысли, — потом сама пошла на попятную. Ужаснулась даже: “Нет, ни за что. Ведь это означает подлог!” Говорила так, словно предложение исходило от меня. Да просто плутовка поняла, что затея неосуществима, пока в Оливеле стоят анар-

1. Перед самой кончиной (лат.).

хисты. Раз капитал не приобрести, можно и невинность соблюсти. В нашу последнюю встречу она всю строила из себя благородную: “Вы заблуждаетесь на мой счет. Меня не интересуют ни подложные документы, ни ваши предложения”.

— Какие еще предложения?

— Те же, что делал ей ты, какие ж еще! С одной только разницей: тебе кастелянша уступила. Уф, — Солерас перевел дух. — А уголовное право помнишь? Предложения, оскорбляющие личное достоинство... Она же такая брезгливая, ты что, не заметил? Безупречная чистюля, и притом абсолютно бесчувственная. Ведь в чувствах всегда кроется что-то нечистое, тут уж не поспоришь. А я был ей противен; до глубины души противен. У нее во взгляде читалась эта смесь страха и отвращения. Вызвать неподдельное отвращение не просто, поверь; а еще труднее вести при этом разговор и гнуть свою линию так, чтобы тебя не перебивали! Однажды я спросил у нее, какими извращениями занимался ее покойный супруг — за таким наверняка водился какой-нибудь грешок...

— Жули, ты кретин.

— Спасибо. А что, если я донесу на тебя, расскажу о подлоге и засажу за решетку?

— Поступай, как знаешь. Но подумай о ее детях. Двумя незаконнорожденными будет больше.

— Так значит, ты о детках пекся? О несчастных сиротках? Очень благородно, поздравляю.

— Ладно, не дури, говори прямо: ты и впрямь можешь меня выдать?

— Уже выдал.

Повисла пауза. Руки у меня затряслись, правая сама потянулась к заднему карману; но я вспомнил, что обойма пистолета пуста (я никогда не ношу заряженного оружия). А Солерас как ни в чем не бывало снова налил себе коньяку.

— Выдал, Льюис, выдал. Но не судье, а твоей жене. Во всех подробностях описал ей твои похождения с самой потрясающей женщиной здешних мест.

— Вот придурок. При чем здесь Трини?

— Если кто придурок, так это ты. Как это при чем? Думаешь, собственную жену можно вот так запросто бросить на произвол судьбы? Стоит ли удивляться, что несчастные женщины жалуются, мол, не понимают их мужья — так наставим им за это рога.

Я вырвал кружку у него из рук и швырнул прямо ему в лицо. Коньяк потек сначала по щекам, потом по голубой рубашке. Жули спокойно достал платок, вытерся и продолжал:

— Думаешь, я — мерзкий тип, а сам ничуть не лучше. С тобой просто невозможно иметь дело.

Побла-де-Ладрон, 19 сентября

Две недели прошли, как в страшном сне; увы, нам, несчастным лунатикам...

4-ю роту бросили на передовую: противник перешел в контрнаступление. У нас большие потери.

Наконец, наступила небольшая передышка; мы окопались в городке, куда залетают гаубичные и минометные снаряды, а то и шальные пулеметные пули. Авиация совершает по два-три налета в день; на колокольне дежурят дозорные: при каждой бомбежке они кричат: “Просрались!”. Потому что сигнал тревоги подают только тогда, когда на землю начинают сыпаться бомбы. Если бы это делали каждый раз, заведев в небе эскадрилью, никто бы и носа не успевал высунуть из укрытия.

Убежищем нам служит подвал единственного уцелевшего каменного дома. Старинный дом, века XV. Подвал в нем сводчатый; гул бомбежки отдается здесь, внизу, точно мощный глас пророка в катакомбах, а с винтовой лестницы, ведущей наверх, сыплется едкая пыль.

От Поблы остался лишь этот дом да развалины церкви; все остальное война сравняла с землей. По главной улице ветер гоняет старинные рукописи и документы: в приходской архив угодила бомба и разнесла хранилище. Иногда во время тревоги я не спускаюсь в подвал, надоело бегать. Просто стою и смотрю, как сыплются бомбы из чрева самолетов; они похожи на насекомых, сеящих на землю свои продолговатые яйца. Время от времени я скуки ради подбираю и рассматриваю какую-нибудь рукопись; любопытно, что в конце XV и даже в начале XVI века здесь писали на смеси каталанского с арагонским диалектом.

Последние две недели я прожил, точно под действием мощной дозы кокаина. Меня переполняло необъяснимое счастье. Ну да, мы отбили Поблу, враг с боями отступил; в селении не осталось ни одного живого существа, только вши. Дикое количество вшей! Мы отчаянно чешемся.

Могу ли я связно рассказать, что делал все эти дни? Нет. Бои не остаются в памяти. Просто что-то говоришь, куда-то идешь, словно повинуюсь чужой воле. Помню только, что двигался, как автомат, и больше ничего.

Встает перед глазами какое-то открытое пространство, не то жнивье, не то пустошь. Противники расставили пулеметы так, словно слушали мою лекцию в Оливеле: крыли перекрестным настильным огнем, невозможно голову поднять. Но приказ есть приказ – пришлось идти в атаку, грудью на пули. Танков-то у нас не было.

Гальярт крикнул: “За мной!” и тут же рухнул замертво. Потом погиб пропагандист. Помню еще высокие стебли лаван-

ды, которые колыхаются на ветру; то один, то другой внезапно падает, словно срезанный невидимым серпом. Новобранцы плакали; они впервые видели войну лицом к лицу. Убило второго офицера, по фамилии Миральес, и я оказался один во главе трех взводов. От нашей роты в живых осталась половина; пришлось отступить в заросли сосен и можжевельника.

Среди стволов рвались семидесятипятимиллиметровые гранаты и минометные снаряды, но по сравнению с тем полем роща казалась тихим оазисом. А как же раненые? Их стоны слышались отовсюду; некоторые пытались позвать на помощь, но голос захлебывался, как крик петуха, которому рубят голову. Связи с батальоном у нас не было. За лесом расстилалось еще одно голое поле, оно тоже простреливалось пулеметами. Новобранцы видели, что помочь раненым никак невозможно, это привело бы к еще большим потерям. Я был в полной растерянности: что же делать, как связаться с командованием?

И тут на поле показался офицер, за ним несколько солдат. Они ползли, стараясь не попасть под пули, и что-то тащили за собой по земле. Да это комиссар Ребуль, он тянул к нам телефонный провод.

Надо же, офицер взял на себя обязанности связиста! Трудно поверить, но нас бросили на передовую, а связиста из армейского корпуса не прислали. И вот теперь Ребуль заменил его. Он полз, припадая к земле, а пули свистели у него над головой, точно рой кровожадных moskitov. От напряжения я весь взмок. Вспомнил дурацкие шутки, которые мы отпускали в его адрес, когда стояли в Оливеле. А сейчас просто слезы на глаза наворачивались при виде подобной отваги. Наконец Ребуль добрался до нас, и я не удержался, обнял его. А он, закусив мундштук своей трубки, посмотрел на меня удивленно, точно мой восторг казался ему чрезмерным и даже глупым, и протянул мне телефон; услышав на другом конце провода голос майора Рузика, я прокричал:

— Разрешите доложить! Капитан Гальярт погиб; боюсь, остальные офицеры тоже. По крайней мере, мы не слышим их голосов. Я взял на себя командование ротой.

— Оставайся в лесу. Пришлю тебе пару орудий 85-го калибра, заткнем эти чертовы пулеметы.

— У нас тут раненые, истекают кровью на поле.

— Пока не придут орудия, даже не вздумай ничего предпринимать, не то конец четвертой роты. Других у нас не осталось! Потерпи немного, минометы скоро будут. Помнишь моего сычонка? Его больше нет...

Мы укрывались в лесу несколько дней. Минометы прибыли, но вражеские пулеметы не умолкали и били наповал вся-

кий раз, когда мы пытались выбраться на открытое пространство. Провизия закончилась, воды не осталось.

Смутно помню нашу последнюю отчаянную вылазку.

Новобранцы, точно замороженные, двинулись за мной; в мозгу стучала лишь одна мысль: вперед, только вперед! Пулеметы стрекотали, как печатные машинки в конторе дядюшки Эусеби, где все четыре секретарши разом барабанили по клавишам. Сначала звук шел спереди, но вдруг послышался и сзади. Мы что же, оказались меж двух огней? Но нет, это совсем другой звук, похожий не на треск печатной машинки, а на щелканье куропаток. Это другие пулеметы, не той модели. Это наши.

И вот уже ветер доносит до слуха обрывки разухабистого гимна, который сочинил Пикó для своих бойцов:

Пулемет наш поет,
им заснуть не дает,
этим фашикам...

Орудия даром времени не теряли. Их снаряды чертили дуги у нас над головами и делали свое дело; разносили в пух и прах огневые точки “фашиков” — и кто только придумал это слово? На передовой врагов только так и называют! Новобранцы не отставали от меня ни на шаг; одни падали, другие бежали вперед, не обращая внимания на пули. Точно какая-то сила двигала нами... Так, а это что? Колючая проволока, что ж еще! Неужели мы так быстро до нее добрались?

Минометные снаряды разорвали “колючку” в нескольких местах, а мы прикладами расширили бреши. Быстрее, быстрее, не то нас всех тут перебьют. Вот мы уже между заграждениями и траншеями. Осталось шагов сто! Сто шагов вверх по склону. Кому жизнь дорога, быстрее за мной!

— Они сдаются! — слышится слева чей-то крик.

И точно, на бруствере стоит тощий, заросший щетиной человек в пыльных лохмотьях. Вроде нищий, думаю я. С какой стати нищий торчит на бруствере окопа? Но вот что-то блеснуло на рваном рукаве: офицерские нашивки. Он развел руки в стороны, точно собирался заключить нас в объятия.

— Не стрелять! Они сдаются! — хрипят мои бойцы.

Потрясающий момент — такой, что в двух словах не опишешь. Всеобщее братство!

— Не стрелять! Хватит крови! Вы же не звери!

Какая прекрасная минута... Или мы все умерли, попали в рай, и этот фашик, одетый в лохмотья, на самом деле ангел, встречающий нас? И вдруг в бинокль я замечаю, как ангел-оборванец подмигивает своим — тем, что прячутся в окопе.

Он под сурдинку делает им какие-то знаки правой рукой, точно дирижер музыкантам. Что за симфонию они собираются исполнить? Наверняка, что-нибудь в нашу честь. Может, *La mort d'Aase*¹. Теперь я вижу его насквозь: готовьте гранаты, подпустим наших друзей поближе...

Испытанная уловка, мы и сами к ней не раз прибегали в подобных ситуациях. Бойцы швыряют винтовки на землю, машут руками, охваченные единым порывом; да они же новобранцы, им неведомы старые фронтовые хитрости.

— Это ловушка! — кричу я, однако никто меня не слышит; кругом радостный гвалт и сумятица. Скорее обнимем друг друга! Боже мой, как сильно в нас стремление к братству и как часто им пользуются, чтобы убивать еще беспощаднее...

— Придурки! — снова ору я, но голос тонет в немьисимом гаме. Рука сама собой тянется к заднему карману, и пистолет ложится в руку, как влитой. Я спокойно навожу ствол; в прорезь прицела вижу, как размахивает руками человек на бруствере. Плавно, с наслаждением жму на курок; боек издает короткий, нелепый щелчок. Ну да, пистолет-то не заряжен.

В двух шагах от меня лежит убитый боец; смутно припоминаю, что его фамилия Эсплугес и родом он из Алберки. Хватаю его винтовку. Или наоборот — фамилия Алберка, а сам он из Эсплугеса? Неважно, какая теперь разница. Приклад отдаёт в плечо, ангел-оборванец падает, как марионетка, у которой перерезали ниточки.

Мои бойцы все поняли; сообразили, наконец-то! Завязался кровавый рукопашный бой. Они яростно колят штыками всех подряд, даже тех, кто на коленях молит о пощаде. Напрасно я кричу:

— Скоты, что вы делаете! Остановитесь! Хватит крови!

Наконец в окопе не осталось ни одной живой души, убивать больше некого. Губы у меня запеклись, мучает жажда. Пико пригнал к нам мула с бурдюком воды на спине. Мы жадно пьем. Теплая, мутная вода кажется нам самой вкусной на свете.

Странное умиротворение принесли эти глотки. Но бойцы не отваживаются поднять глаза, словно теперь их связывает какая-то постыдная тайна. Сможем ли мы когда-нибудь спокойно смотреть друг другу в лицо после того, что произошло?

И снова день за днем из боя в бой, из траншеи в траншею. Оказывается, противники, в отличие от нас, выставили три

1. Смерть Озе — сюита из музыки Эдварда Грига к пьесе «Пер Гюнт».

линии обороны, одну за другой. Боевой дух падает: только прорвем одну, а за ней метрах в ста вторая, а там и третья. Приходится начинать все с начала.

Еще помню лес, горящий с трех сторон; самолет сбросил на него зажигательные бомбы. Мы попали в западню, оказались на пылающем островке в море минометного огня. Жевали обугленный хлеб. Горький запах этого леса мне не забыть никогда, он преследует меня по сей день. Не забыть и песен, то печальных, то непристойных, которые пели новобранцы.

Спали мы, где придется, в углублениях, вырытых штыками. Лежишь ночью — тишина кругом, лишь иногда просвистит шальная пуля — и видишь в вышине созвездие Лебеда, Северный Крест. Круэльс научил меня распознавать его на небосклоне. И глядя на эти звезды, я думал о тебе, Рамон, думал о Трини и о нашем сыне, читал “Отче наш” и потихоньку засыпал. Из бесконечной темноты светили они мне, эти четыре золотых гвоздя в небесной тверди. Господи, как мы все-таки малы, как беспомощны и как нуждаемся в поддержке!

21 сентября

Вот что не дает мне покоя: на днях я обыскивал карманы убитого мной лейтенанта — тяжелая обязанность, но таков приказ, что поделаешь; кто знает, вдруг на теле противника найдутся какие-нибудь важные документы или сообщения. У этого ничего существенного с собой не было, только письма от невесты. Бедняжка мечтала, что они поженятся, когда кончится война. Четыре письма в одном конверте. Не будь его, я бы не пребывал сейчас в таком замешательстве. Лейтенанта, оказывается, звали Антонио Лопес Фернандес.

Но тетушка Олегария не говорила мне, что ее внук досужился до лейтенанта. Впрочем, это могло произойти совсем недавно; и потом, она редко получала от него весточки — только через международный Красный Крест...

Будем надеяться, что это чистое совпадение: имя-то не сказать чтобы редкое! Но есть и кое-что похуже: на следующий день, когда мы собрались хоронить убитых в общей могиле, я обнаружил, что тело лейтенанта изуродовано. Кто-то ножом распорол ему брюки и... Знать бы, кто этот ублюдок, расстрелял бы перед строем.

22 сентября

Случившееся не идет у меня из головы. Война сама по себе жестокая штука, и лишить жизни ненавистного врага — дело понятное. Да и в мирное время люди погибают, всех нас

ждет одна участь. Страшно не кровопролитие, страшна ненависть. Убивать из чувства долга, это еще куда ни шло, но только без ненависти. Солерас, помнится, говорил: давайте убивать по-братски.

Даже не знаю, что теперь делать? Написать невесте? На конверте есть имя и адрес: Ирене Наталия Ройо Халон. Любопытно, что из этих инициалов скадывается надпись INRI¹, учитывая, что в римском алфавите буквы “и” и “йот” обозначались одним знаком.

Но что же мне ей писать? “Уважаемая сеньорита, имею честь сообщить Вам следующее: недавно я убил Вашего жениха...” Чушь какая. Лучше выбросить это из головы. И потом, как отправить ей письмо? Через Красный Крест, разумеется. Или через какое-нибудь посольство. “Сеньорита, с прискорбием сообщаю, что Ваш жених Антонио Лопес Фернандес пал смертью храбрых; стоял на бруствере и смотрел, как мы наступаем...” Про то, кто его убил, можно умолчать. “Мы предали тело земле со всеми почестями, которых заслуживал сей достойный противник...” Ну да, и кто-то изувечил его труп. Стоп! Найти бы этого ублюдка... Есть у нас один боец, некий Памиес, тот еще тип: рожа тупая, глазки бегают, голова втянута в плечи, рот вечно ухмыляется — ни дать ни взять, мумия из монастыря; но не могу же я расстреливать человека только потому, что мне не приглянулась его физиономия!

Нет, казнить его нельзя — как казнишь мумию?

Каптенармус доложил мне, что готова похлебка; бойцы уже выстроились в очередь к огромной, черной от сажи алюминиевой кастрюле — прокопченные, как она, оборванные, нечесанные и небритые. Слава Богу, у нас нет зеркала, и своих лиц мы не видим, как не чувствуем и собственного зловония — привыкли. Однако глаза наши не утратили блеска, мы смотрим и видим; мы мечтаем... Мечтаем о полнокровной, прекрасной жизни, которая наступит после войны, обязательно наступит; несмотря на все злоключения, мечты наши живы. “Построиться по двое!” Бойцы машинально подчинились приказу; у каждого в руках алюминиевая миска — эти миски никогда не моют (и для питья-то воды хватает еле-еле), а потому что туда ни положи, любая еда отдает прогорклой кислятиной. Я провел строевой смотр; останавливался перед каждым, заглядывал в глаза, всматривался в их мечты: кому грезятся жена и сын, кому ферма и стога на поле (где-нибудь в Вальесе или в долине Уржелъ), кому — квартирка с

1. Аббревиатура латинской фразы “Иисус Назарянин, Царь Иудейский”.

мастерской в Грасии или в Барселонете; кто-то мечтает о заветном поцелуе, который перевернул бы всю жизнь... А вот и глаза, не знающие грез, глаза мумии; глаза циничного пройдохи. Во рту у меня собралась слюна, и плевок угодил прямо в ненавистную физиономию, а потом, как слизняк, медленно пополз по колючей щетине. Памиес и глазом не моргнул, а остальные были слишком погружены в свои мечты. От кастрюли поднимался к небу пар, точно дым от жертвы всеожжения Авеля; пахло паленой шерстью: интендантская служба пожаловала нам очередного барана. Боже правый, отчего так неистребимо на этой земле Каиново семя?

Нет, вряд ли убитый лейтенант был внуком тетушки Олгарии. Ведь она ничего не говорила мне о повышении. Конечно, он мог познакомиться со своей Ирене, когда перешел на фашистскую территорию, девушка-то не здешняя. Из писем мало что можно о ней узнать, видно только, что образованием не блещет, как сказал бы Пико. Такая вот, например, строчка: “Люблю тебя, навеки твоя”. Впрочем, безграмотностью у нас никого не удивишь: разве не писала мне кузина Жюльета: “Дарагой Льюис, абажаю”?

Фалгера-де-лос-Кабесос, суббота, 9 октября

Местность, которую мы заняли ценой больших потерь, представляла собой голую равнину, серую, словно песок для чистки котлов; вокруг — такие же голые скалы. Их вершины правильной формы походили на усеченные пирамиды; на рассвете и на закате, когда солнце стояло низко над горизонтом, на землю ложились косые, угловатые тени и округа напоминала Грифовой падь¹ в Оливеле. В этом имелось свое очарование: склоны гладкие, линии чистые; жизнь грязная и тяжелая. Шикле и Побла-де-Ладрон остались позади, и выжившие бойцы нашего батальона блуждали из кратера в кратер, точно по лунной поверхности. Теперь мы были передовым отрядом на вражеской территории.

Однажды мы оторвались от своих — два дня без воды и пищи. Встали лагерем у подножья крутого склона, куда не долетали ни пули, ни снаряды, однако все подступы простреливались из орудий и пулеметов. Двое снабженцев потайными тропами пригнали к нам мула, груженого провизией; на обратном пути в двух шагах от них разорвался снаряд, и несчастному животному разворотило брюхо — оно лопнуло, точно

1. Расщелина в горах, описанная в первых главах романа. Жители Оливеля сбрасывали туда безнадежно больную скотину.

бутона гигантской розы. Три дня спустя с той стороны потянул ветер, и до нас долетел запах падали, особенно мерзкий в этих величественных безмолвных краях. Эх, взять бы да обратиться в каменные статуи!

Но вот и горная равнина осталась позади. Враг отступает, хочет, видно, обойти наш батальон сзади и отрезать от основных частей; теперь нас отделяет друг от друга протяженная долина, от двух до семи километров в ширину — “ничейная земля”. Несколько деревушек здесь уцелело, но жители их покинули.

Лос-Кабесос — холмистая местность, поросшая густым и тенистым лесом; повсюду ручьи и речушки; хлев, в котором мы расположились, стоит на берегу одной из них, так что я могу наконец-то искупаться в глубокой запруде, где вода доходит мне до подбородка. Кроны вязов и тополей красуются разными цветами, от зелено-желтого до темно-красного, а на излучинах реки лежат сочные луга. Там пасутся коровы и козы крестьян из деревушек, оставшихся у нас в тылу; жизнь в них вошла в свою колею, как только линия фронта окончательно установилась. Думаю, местным безразлично, что за флаг развивается на позициях, прикрывающих их жилища. “Все мы из одного теста”, — помнится, говорила тетушка Олега́рия.

В здешних краях больше скотоводов, чем земледельцев; пашен почти нет, зато то и дело слышится звон бубенчиков, и это так приятно после долгих недель боев, когда кругом стрекотали пулеметы да рвались снаряды. Пастухи продают нам козье молоко — сами они его в рот не берут; козы здесь особые, похожие на горных, с длинной, шелковистой шерстью и внушительными рогами.

Каждый вечер на закате из заросших оврагов раздается громкий, настойчивый крик желны, отдаленно напоминающий лошадиное ржание, вот почему местные называют ее “птица-конь”. Этот голос — последний аккорд уходящего дня; потом будет слышно лишь уханье филинов и сов да хохот сыча.

Однако в прощальных криках желны нет печали, напротив, они энергичны и полны радости. Однажды вечером я пошел в сосновую рощу; лег на мягкую хвою, устилавшую землю, и погрузился в свои мечты. Я лежал неподвижно, и дятел меня не заметил. Он усердно долбил клювом ствол, в тишине дробь разносилась по всему лесу. В лучах солнца, пробивавшихся сквозь ветви деревьев, черное с белыми вкраплениями оперение птицы блестело, отливало зеленым, красным и желтым. Видимо, это был самец: крупный, как горлица, и такой ослепительно-яркий. Вцепившись когтями в кору, он сосредоточенно занимался своим делом, и я подкрался побли-

же. Наконец дятел заметил меня, но не улетел, а перебрался на другую сторону ствола и оттуда стал за мной наблюдать. Я тоже обогнул дерево, и птица повторила свой маневр, точно играла со мной в прятки. У нее были такие внимательные блестящие глазки, просто чудо! Я попробовал поймать хитреца, но он взлетел и издал свой громкий крик, точно объявляя всеобщую тревогу.

В ясные дни с вершины Кабесо-Майор далеко на горизонте можно различить размытую голубую линию — там, на северо-востоке. Иногда я забирался повыше и подолгу не отрывал глаз от бинокля, пытаясь разглядеть неподвижную белизну вечных снегов. Сердце подсказывало мне, что там, за горами, лежит моя родина. Почти полтора года я с нею в разлуке; полтора года не видел Трини и сына. До сих пор я не очень-то по ним скучал. Отчего же вдруг все изменилось? Появилась какая-то тяжесть в груди — даже не в груди, а под ложечкой. Так бывает, когда съешь что-то несвежее, а потом маешься, пока не вырвет.

Круэльс, наш фельдшер, иногда приходит посидеть со мной и всегда приносит астрономическую трубу. Мы разглядываем Венеру, которая крупной слезой дрожит на небосклоне до поздней ночи: видна в максимальной элонгации, как объяснил мне Круэльс. Астрономическая труба у него старинная, кажется, я тебе о ней рассказывал. Такими пользовались моряки в прошлом веке; она складная, и в сложенном виде длиной всего в пядь, зато в разложенном — больше метра. В это время года Венера похожа на тоненький серп молодого месяца. Наша импровизированная обсерватория находится на вершине скалы, где кроны деревьев не застыт неба.

Однажды вечером мы сидели и увлеченно разглядывали кратеры и моря растущей луны, как вдруг Круэльс спросил, хорошо ли я себя чувствую.

— Да вроде ничего. А почему ты спрашиваешь?

— Ты в последнее время какой-то бледный, словно тебя что-то гложет.

Я удивленно посмотрел на товарища:

— А знаешь, и правда. У меня как будто ком внутри; словно я камень проглотил. Хотя возможно, это все фантазии. Может, два пальца в рот и фантазиям конец? Можно, я тебе исповедуюсь?

Круэльс печально покача головой.

— Нет, я ведь еще не орденирован.

— Да какая разница! Просто выслушай. С кем мне еще поговорить как не с тобой? Не знаю, верю ли я по-настоящему, и в глубине души мне все равно; так, накатывает иногда. Но откуда же эта тяжесть под ложечкой?

И я рассказал об убитом лейтенанте, о том, как изуродовали его тело:

— Не будет мне покоя, пока не найду и не расстреляю ублюдка, который...

— И что ты этим справишь? — покачал головой Круэльс. — Лейтенант мертв, не думай о нем больше. Ты исполнил свой долг, он — свой; помолись об упокоении его души и не мучайся. Война есть война.

— А вдруг он и вправду был внуком тетушки Олегарии?

— Едва ли; слишком уж невероятное совпадение. Внук тетушки Олегарии до лейтенанта бы не дослужился, он, верно, и читать-то не умеет.

— Ладно, убитый лейтенант и искалеченный труп — это еще не все. В конце концов, непристойное и ужасное часто идут рука об руку. Возможно, такие надругательства над телами погибших — какой-то доисторический, вековой ритуал; у Мело¹ в описании Восстания жнецов встречаются подобные эпизоды; и на офортах Гойи времен войны с французами то же самое. Как получилось, что этот мерзкий ритуал кочует из войны в войну, иногда с интервалом в несколько веков, без всякой видимой связи? Традиция? Едва ли. Скорее, наши темные инстинкты. Господи, что же тогда у нас за инстинкты! Но, пожалуй, ты прав, не надо об этом думать. В конце концов... В конце концов, лейтенант сам напросился. Кто заставлял его торчать на бруствере? Сукин сын; он разве не понимал, что добром такое не кончится? Нет, не потому у меня ком под ложечкой. Не из-за убитого лейтенанта. И я в том же звании, и меня в любой день могут прихлопнуть. Тогда я просто успел первым, так что мы квиты. *Requiescat in pace*². Пусть катится.

Круэльс беззвучно шевелил губами.

— Не надо сейчас молиться; не строй из себя юродивого. Успеешь еще, намолишься. Лучше послушай.

И я выложил ему свою историю с кастеляншей — всю, без утайки.

— Видишь, до чего я докатился. Но, честно говоря, подделка свидетельства меня мало волнует. А вот Трини, страдалица, просто не идет из головы... Оставил жену на произвол судьбы, живу своей жизнью, как будто ее и на свете нет. Да полно, своей ли? Конечно, мы люди прогрессивные, ни она,

1. Имеется в виду историк Франсиско Мануэль де Мело (1608–1666), автор труда “История движений и войны за отделение Каталонии в правление Филиппа IV”, написанного в 1645 г.

2. Да почиет в мире (*лат.*).

ни я не хотели ни венчаться, ни расписываться; причем Трини — в первую очередь, у нее ведь родители — анархисты. Прогрессивные люди... Но, если по совести, разве это дает право бросать женщину — пусть, мол, справляется, как знает? Какой же это прогресс? Представляешь, я сказал кастелянше, что ради нее готов уйти от Трини...

— Уйти от Трини? Полагаю, на такое ты не способен.

— Да, но в тот момент... Потом бы я, конечно, рвал на себе волосы, но тогда на меня будто что-то нашло. С тобой-то такого никогда не случалось, тебе не понять. С женщинами надо говорить так, чтобы их сразу за душу брало, а то они в нашу сторону и не взглянут. В настоящей страсти полутонов не бывает, иначе это не страсть, а сплошная ерунда. Женщины умеют понимать с полуслова, и тут уж или все на карту или не садись играть! Они — потрясающие существа, Круэльс; куда лучше нас! Обещай бросить к ее ногам свою жизнь, покой, багополучие, и она пойдет за тобой хоть на край света. Да, потрясающие существа! И как же их не любить, когда они настолько нас превосходят?

— Выходит, это увлечение у тебя не первое.

— Не первое? Слушай, Круэльс, ты, верно, запомнил, что я не семинарист. Не первое! Да если их все примешься вспоминать, жизни не хватит! Хотя, с другой стороны, некоторых я уж и забыл, много воды утекло. Дела довоенные, сам понимаешь. И не собираюсь я каяться — в свое время покаяться, хватит; незачем прошлое ворошить. Из всех этих историй только одна иногда всплывает; ну и влип же я тогда, Господи, ну и влип! Трини, конечно, ни о чем не подозревала. И самое худшее то, что вот так увязнешь по уши, а облегчить душу и поделиться с надежным человеком не можешь, потому что этот человек — твоя собственная жена. Кажется, будто остался один-одинешенек... В те времена мне бы и в голову не пришло исповедаться, как сейчас я исповедуюсь тебе. Ну и намучился же я! Она была разведенная, с двумя детишками на руках; бывший муженек испарился. Понимаешь, выскочила замуж за какого-то латиноамериканца, а когда во второй раз забеременела, тот исчез, не оставив адреса. Чтобы прокормить ребятишек, пришлось ей служить на вторых ролях в мюзик-холле на Ноу-де-ла-Рамбла и ютиться в номерах на улице Карме. Сногсшибательная брюнетка, волосы, как смоль, до самого пояса, глаза прямо из “Тысячи и одной ночи”. Но, Боже мой, до чего ж наивная! Читала заповем дешевые романчики и слушала слезливые драмы по радио. Свято верила каждому слову, цитировала наизусть диалоги. Мне это здорово надоело. Однажды, помню, говорит: “Сердце — мужчина, а любовь — женщина” (такие фразы она всегда

выдавала по-кастильски); изображала страсть, а может, и вправду была страстной. Беда в том, что не со мной одним. Знал бы ты, сколько грязи я в то время нахлебался, сколько всего вытерпел, а все потому, что не мог порвать с этой дурехой. Увяз по горло, зависел от нее, как наркоман от кокаина; и длилось это несколько месяцев. Чувствовал себя растоптанным, уничтоженным, точно провалился в колодец, а выбраться нет сил. Кто мог протянуть мне руку помощи? Только Трини, но именно ей и нельзя было ни о чем рассказывать! Просто ад какой-то; отдалился от жены, ощущал себя оторванным от всего мира, как в тюрьме. Чувственные женщины всегда вызывали у меня неприязнь, и эта — не исключение. И как такое возможно — испытывать страсть и отвращение одновременно? Но все же она была в тысячу раз лучше меня; в тысячу раз благороднее, бескорыстнее. Ладно, что теперь говорить? Все прошло, как тяжелый сон; просто невероятно, как эта несчастная могла настолько мной завладеть — месяцев пять жизни на нее убил...

— Бедный, бедный Льюис, — только и сказал Круэльс.

— Но честное слово, ни одна женщина не скрутила меня так, как кастелянша, ни одна! Наверное, потому, что она дала мне от ворот поворот; ну да, наверное, поэтому. Что за неприступная крепость! Знал бы ты, каким дураком я себя чувствовал... Злые шутки страсти: желаннее всех та, что тебя отвергла. Да кастелянша стоит ста, нет, тысячи таких, как я, пусть даже Солерас и прав в своих подозрениях, понимаешь? В конце концов, кастелян был законченным ублюдком и, что еще хуже, ублюдком трусливым. А она по-своему права: воспользовалась моей глупостью, чтобы обеспечить будущее детей. И еще лезла ко мне с добрыми советами, представляешь! В какой же идиотской ситуации я оказался! “Женитесь на Трини, оставьте свои глупости, ничего путного из них не выйдет”. Разумно, не правда ли? Ну да, кто бы спорил... Только мне от нее не советы были нужны, а... ладно, хватит. Выставил себя полным кретином. Ты ведь никому не разболтаешь, что свидетельство фальшивое? Не подведешь под монастырь ни в чем не повинных детишек?

— Бедная Трини, — пробормотал Круэльс. — Скоро ты на ней женишься?

— Женюсь? Но как? Ни она, ни я церкви не верим. Гражданским браком? А почему власти заслуживают больше доверия, чем церковь?

Круэльс слушал молча, серьезно глядя сквозь очки мне в глаза. Астрономическая труба лежала, забытая, на скале. Наконец он взглянул на часы:

— Мне пора. Доктор Пуч ждет меня на командном пункте. Дай Бог, часа через два доберусь, дорога плохая. Ты сам не подозреваешь, насколько прав. Брак — это таинство, ведь так? Ладно, пойду, а то совсем стемнеет.

— Не надо читать мне проповедей, от них одна тоска. Проповеди — та же похлебка, для всех одинаковая, а беда у каждого своя, неповторимая. Не будь, как отец Гальифа, этот своими словами все мог разрушить; да что там словами, и взгляда хватало. Когда мы говорим “таинство”, что имеем в виду? Само собой, речь идет не о церемонии. Я знаю каноническое право, как свои пять пальцев, и уж наверное, Адам и Ева обошлись без всяких церемоний. Они сразу перешли к делу. Тогда как же различить, где есть таинство, а где его нет? Когда мужчина и женщина становятся друг для друга Адамом и Евой? Постой, послушай; до темна еще далеко. Взять, например, кастеляна. Кастелян! Вот уж пройдоха! Ты знаешь, что он собрался продать и замок, и земли и открыть носочную фабрику? Думаешь, его к работе потянуло? Как бы не так: нашел себе в Реусе промышленного партнера, и тот посулил баснословную прибыль, если кастелян рискнет вложить в дело полмиллиона. Мол, носки — вещь нужная, быстро снашиваются, ведь люди ходят туда-сюда, и ноги у них потеют. Ладно, не о носках сейчас речь, мы говорим о браке: женись кастелян на другой, со всякими там таинствами и прочим, которая из двух женщин стала бы перед Богом его Евой?

— Людям это неизвестно, только Господу. Но твоя Ева — Трини, ты ведь и сам понимаешь. А хочешь знать, отчего у тебя тяжесть под ложечкой? Это “коготь роковой”. Все-таки Бодлер — великий поэт!

Я хотел крикнуть: “Постой, объясни, что еще за коготь!”, но Круэльс поднялся, стал торопиво спускаться по козьей тропке и вскоре исчез за дубами и кустами можжевельника.

Фалгера-делос-Кабесос, воскресенье, 10 октября

Ветер донес до нас колокольный звон из какого-то селения... С вражеской территории, конечно, потому что на нашей ни одного колокола не осталось¹. Но до чего же отрадно слышать эти звуки! На душе у меня легко: ночью приснилась Трини. Представляешь, в первый раз за все время. Жаль, что сон был каким-то путаным; но ее я видел как живую, она улыбалась и в ее по-детски доверчивых, умных глазах стояли слезы.

1. Анархисты, будучи воинственными антиклерикалами, активно занимались разорением церквей и монастырей на занятой ими территории.

Тем воскресным утром я лежал под сосной, грелся на ласковом октябрьском солнышке, слушал далекий колокольный звон и думал, как счастливо мы могли бы жить вместе с Трини и нашим сыном в этом хлеву... В самом деле, почему бы и нет? Остаться здесь, в глуши, завести корову и пару коз. А остальные пусть катятся! В голос невидимого колокола вполеталось дребезжание овечьих бубенчиков, и я думал, как прекрасно все сложилось бы, будь оно так просто.

Но подобные мысли посещали до меня многих, и многих еще будут посещать. Как замечательно сложилась бы жизнь, будь она проще. Для начала надо бы самим стать попроще; стать цельными, как изваяния, без этой безобразной путаницы, которая исподволь отравляет наши души.

На неприютных равнинах Поблы-де-Ладрон времена года различаются только температурой: летом адская жара, зимой — дикий холод. А растительность не меняется. И до чего же приятно оказаться теперь в здешних краях, где природа то увядает, то расцветает вновь. Увидеть, как желтеет и краснеет листва, как делает свое дело осень, как в лесу начинают расти грибы. Мой денщик за день набирает полную корзину и запекает их на углях. Однажды раздобыл даже соты диких пчел; лицо и руки у бедняги распухли, однако он уверял, что после первых укусов боль от них перестает чувствовать. Мед немного горчил, но был удивительно вкусным. “Ничейная территория” радует нас еще одним лакомством: гроздьями сладкого, подвяленного на солнце винограда с заброшенных виноградников.

Местные только кривятся, когда видят, как мы едим рыжики. “Тьфу, козья еда”, — с отвращением бормочут они, а сами за обе щеки уплетают немислимую гадость, тушеную овечью требуху. И молока они в рот не берут: мол, это для больных, а у здорового человека кишки узлом завяжутся.

Когда мы бродим по лесу, с ветвей срываются стаи дроздов и еще каких-то птиц с удивительными крестообразными клювами — кажется, это клесты. Высоко в небе парят грифы, направляются в сторону Шилте и Поблы-де-Ладрон, где еще недавно гремели бои. Для них что поле битвы, что Грифова падь, все едино. Еще выше летят аисты: пришло время перебираться на юг. За ними снимутся с места и остальные пернатые, ведь зима не за горами.

Видишь, какую спокойную жизнь ведем мы после стольких недель безумия, от которых у меня осталась одна привычка: не засну, пока не прочту “Отче наш”, глядя на Северный Крест. “Возьми свой крест и следуй за Мною”. Так, кажется, говорил твой Бог, Рамон? Из всего пантеона только Он до-

рог мне — тот, что стал Человеком; к чему нам, людям, остальные, если до них так далеко? И если Господь действительно существует, как же Ему было не облачиться в плоть? Разве мог Он оставить нас наедине с нашим ущербным разумом, этой слабой лампадкой перед лицом небытия, в беспредельном мраке? Будь мы одни, созерцание темных глубин ночного неба приводило бы нас в трепет: холодная, необозримая пустота, вечная мгла, непостижимые декорации вселенной.

Так почему же вид ночного неба успокаивает людей, дарит им утешение и поддержку? Почему? Кто глядит на нас отсюда? Кто?

На свете столько бессмысленной чепухи, а Бога, выходит, нет?

Фалгера-де-Кабесос, понедельник, 11 октября

Из Министерства пришел приказ — меня произвели в лейтенанты. И интересное уточнение: “с правом командования орудийным расчетом”. Майор Рузик лично явился к нам в хлев и даже пирог принес — такие пекли в Оливеле в старые добрые времена. Он так растроганно обнял меня, точно я удостоился звания верховного главнокомандующего Священной Римской империей, не меньше. Но я сказал, что в нашем батальоне орудий-то как раз и нет (те, восьмидесятипятимиллиметровые, были из другой бригады, и их пришлось вернуть).

— Не печалься, Льюис, добуду я тебе минометы!

Но пока, за отсутствием боевых машин, я продолжаю командовать остатками 4-й роты. Каждую ночь обхожу дозором позиции, а потом усаживаюсь где-нибудь в сторонке и стараюсь отыскать на небе Северный Крест. И почему он так меня притягивает? Ведь что такое крест? Просто эффективное орудие казни, придуманное древними, чтобы продлить агонию жертвы... Страшное орудие. “Возьми свой крест и следуй за Мною”. Так неужели наша единственная участь — страдание?